

А.В. Соболев

К истории московских философских кружков советского периода

Россия моя, Россия,
Зачем так ярко горишь?

Марина Цветаева

Согласно легенде, знаменитый своими злодеяниями император Нерон сжег Рим ради собственных поэтических амбиций. Рассказывают также, будто на упрек в неспособности повторить успех и создать нечто равное фильму «Рим – открытый город» Росселини ответил своим критикам, что ради чаемого шедевра им придется развязать Третью мировую войну.

Да, только в соавторстве с самой историей сочиняются подлинные шедевры. Но тогда встает законный вопрос: а имеем ли мы право поджигать Рим или Россию с четырех концов ради остроты и подлинности художественных переживаний? Жажда подхлестнуть историю, сбить ее с естественного ее ритма ради того только, чтобы лично самому оседлать волну, – эта мечта кружит головы и политикам, и поэтам в равной мере. И при этом никому не хочется думать о том, какую чудовищную цену нация в целом может заплатить за эту спровоцированную историческую аритмию.

По признанию Бориса Пастернака, его книга «Сестра моя – жизнь» (так поразившая Марину Цветаеву и Осипа Мандельштама) могла быть написана только в краткий исторический миг между Февралем и Октябрем 1917 года, когда вдруг возникло, как он пишет, «ощущение повседневности... становящейся историей... чувство вечности... сошедшей на землю»¹.

Действительно, всплеск революционного энтузиазма в ту сумасшедшую эпоху как бы водрузил всем на переносицу розовые очки, и бытовые детали вдруг приобрели библейский масштаб. В этой уникальной ситуации уже никому не могли показаться вычурными такие строки поэта:

... когда поездов расписание
Камышинской веткой читаешь в пути,
Оно грандиозней святого писанья,
Хотя его сызнава все перечти.

В условиях «карнавальной» свистопляски эти строки прочитывались не как поэтическая гипербола, а как протокольно точная фиксация того факта, что «повседневность» вдруг доросла до «святости». Увы, «святость» революционной повседневности неизбежно оказалась того же сорта, что и у «матери святой гильотины», которая когда-то так вдохновляла «неистового Виссариона» (Белинского). С исчезновением в душах людей внутренней тишины зазор между священным и профанным стал просто недоступным для восприятия, и под маской Святого Духа на подмостках истории затанцевал энтузиазм.

У Пастернака энтузиастический морок испарился очень скоро. Яркой иллюстрацией здесь может послужить другой его поэтический шедевр («Художник»), который хотя и посвящен Сталину и по необходимости несет на себе следы революционной риторики, но тональностью и, главное, ритмом свидетельствует об обретении поэтом внутренней тишины и свободы.

Мне по душе строптивый норв
Артиста в силе: он отвык
От фраз, и прячется от взоров,
И собственных стыдится книг.

.....
Но кто ж он? На какой арене
Стяжал он поздний опыт свой?
С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой.

.....
Он жаждал воли и покоя,
А годы шли примерно так,
Как облака над мастерскою,
Где горбился его верстак.

От ритма мчащегося железнодорожного состава не осталось и следа. Он вытеснен ритмом плывущих над мастерской художника облаков. И сопоставив разновременные стихи, мы в какой-то мере сможем почувствовать драматизм и мощь борений мотивов не только в глубине души поэта, но и в онтологической глубине самой исторической реальности.

* * *

За восьмимесячную «февральскую» эйфорию великому народу, как известно, пришлось заплатить десятками миллионов жизней и, возможно, даже окончательной утратой исторической перспективы. Может показаться, что, вопрошая о нашем праве подстегивать историю, нам лучше оставить поэтов в покое и с высот художественных вдохновений спуститься на землю, на уровень политико-идеологический. Но мы легко обнаружим, что поскольку за каждым из возможных вариантов ответа на поставленный вопрос стоит своя правда, то согласовать, гармонизировать эти противостоящие друг другу правды нам вряд ли удастся без «воспарения» в высшие сферы. Самые глупые, самые, казалось бы, приземленные вопросы общественно-политической жизни либо решаются в высших сферах человеческого духа, либо не решаются вовсе. Истребляя аристократию, т. е. уничтожая оазисы духовной тишины, где воспитываются личности, способные гармонизировать человеческие отношения, общество, как показывает история, неизбежно приходит к самоистреблению.

Если мы, для примера, рассмотрим две наиболее влиятельные социальные правды – «консервативную» и «либеральную», – то очень скоро вынуждены будем от «низших» (имущественных) проблем вознестись к «высшим» проблемам (смысла жизни). Мы неизбежно обнаружим, что, пожалуй, самое важное, что разделяет два мировоззрения и делает их трудно совместимыми, это то, что консерваторы и либералы живут в совершенно разных исторических масштабах.

Поскольку для консерватора на первом месте, как правило, слава и благополучие его отечества, то он охотно готов заглядывать в историческую даль. Либерал же грезит исключительно о

том, что может осуществиться при его собственной жизни, причем непременно в период ее биологического «цветения». Поэтому либеральная мысль всегда окрашена подростковым нетерпением. Хорошо ли это или не очень, – не нам судить. Но важно всегда учитывать разрушительную мощь подростковой внеисторичности, подростковой жажды немедленного «сведения неба на землю» во имя полноты индивидуальной самореализации.

Как гармонизировать столь различные жизненные ритмы, готовые разорвать тонкую связь между «исторической» и «мифопоэтической» жизненными установками? И можно ли организовать такой познавательный процесс, в ходе которого права и статистики, и поэтики были бы в равной мере соблюдены? Именно эта проблема волнует сегодня философов истории. И решение ее, видимо, не в чем ином, как только в коренном преображении самой тональности речи и мысли. В создании и поддержании атмосферы духовной тишины и благоволения, которые приоткрыли бы для сознания измерение онтологической глубины. Ибо только на онтологической глубине, или, что то же самое, на ценностных вершинах совершается гармонизация казалось бы несовместимых мотивов мысли и поведения.

* * *

Ускоренное созревание в обществе без общения – **не окажется ли оно созреванием ложным?**

Сен-Жон Перс (Из Нобелевской речи)

Когда мы сегодня задаемся риторическим вопросом о «России, которую мы потеряли», то о чем мы при этом больше всего сожалеем? Конечно, мы вспоминаем при этом о поразительном взлете духовной культуры Серебряного века, наиболее ярким свидетельством которого явились знаменитые дягилевские «Русские сезоны» в Париже. Но также и о неуклонном росте политико-экономической мощи страны – той мощи, которая «грозила» без войны обеспечить России ведущие позиции среди мировых держав, но одновременно лишала лидеров этих держав покоя и сна.

Остроту и трагизм политической ситуации, в которой оказалась Россия накануне Первой мировой войны, ярко иллюстрирует диалог, о котором сообщает в своих мемуарах высланный в 1922 году из страны на «философском пароходе» князь Сергей Евгеньевич Трубецкой. «В разговоре со мною, – вспоминает князь, – генерал Миллер² горячо напал на министра иностранных дел Сазонова: “Надо было во что бы то ни стало сохранить тогда мир, даже если для этого нам пришлось бы пойти на большие уступки. Лет через 10–15 Россия была бы настолько сильна, что могла бы диктовать Германии и Австрии свои условия. – Вот именно поэтому я очень сомневаюсь в том, что тогда было возможно сохранить мир, – отвечал я. – Германия видела рост России и боялась ее. Проект превентивной войны назревал в Германии давно”»³.

Но сегодня моя задача не в том, чтобы в тысячный раз оплакать утрату былой мощи, а в том, чтобы сфокусировать внимание на тех невидимых микропроцессах, которые и являются главным ее источником. И духовное, и политико-экономическое здоровье нации в своей основе всегда имеет глубинные процессы срастания и укрепления социальных и духовных ее тканей. Именно эти микропроцессы в конечном счете и определяют казалось бы неожиданный выход на авансцену мировой истории тех или иных народов. В свое время А.С.Пушкин выделил как «весьма остроумное» замечание императрицы Екатерины Великой о том, что «в обществе жить не есть не делать ничего»⁴. Наполеоновские полчища обломали себе зубы, столкнувшись не только с военным искусством Барклая де Толли и Кутузова, но также и с «органической» спаянностью того общества, в котором «княгиня Марья Алексеевна» и все прочие «не делали ничего», а делали весьма существенное «не-что». Созревание в условиях грибоедовской Москвы не оказалось «созреванием ложным», «созреванием в обществе без общения». И только на поверхностный взгляд может показаться эпатирующим следующее суждение В.В.Розанова: «Конечно, не Пестель-Чацкий, а Кутузов-Фамусов держит на плечах своих Россию, “какая она ни есть”»⁵.

Мемуары Георгия Адольфовича Лемана-Абрикосова, одного из страстных почитателей Розанова (за чтение воспоминаний о котором на частной квартире художника М.В.Нестерова он в 1927 году поплатился первым своим арестом и ссылкой), ценны имен-

но тем, что они насквозь пронизаны «розановским» убеждением в том, что бытовые детали и душевная теплота составляют и выражают самую суть исторической жизни и что прежде чем растрачивать энергетический потенциал нации в различного рода авантюрах, его сначала нужно накопить в условиях, может быть, не слишком яркой, но плодоносной повседневной жизненной рутины.

* * *

«Я люблю старые вещи. Они хорошие собеседники, прекрасные рассказчики и первоклассные музыканты... я любил раньше слушать пение старого сундука. Он отпирался ключом таким большим, как ключ от ворот старинного города... Плох стал старик, и все добро из него пришлось переложить в квадратный резной ореховый шкаф...

Чего-чего там только нет... портреты и альбомы, коробочки и дедушкины медали, письма и засушенные цветы. Они лежат передо мною, обещая вдохновенные рассказы, тая в себе комедии и драмы, скрывая события тихих дней и бурных ночей. Я смотрю и смотрю в глубину старого шкафа, я слушаю и слушаю ту симфонию, которую разыгрывают в нем старые вещи... Так греми же сильнее одному мне слышный оркестр, когда уснул весь дом и только у меня на столе горит зеленая лампа»⁶.

Приведенный отрывок из «Семейной летописи» племянника Г.А.Лемана-Абрикосова мог бы послужить еще одним прекрасным эпиграфом к публикуемому здесь фрагменту из воспоминаний самого Георгия Адольфовича. А оба эти документа могли бы положить начало увлекательному труду по истории одной семьи, связанной многочисленными нитями с историей России и давшей стране выдающихся промышленников, прославленных ученых-академиков (включая ныне здравствующего нобелевского лауреата А.А.Абрикосова), народных артистов (включая лауреата государственной премии А.Л.Абрикосова, сыгравшего в фильме С.Эйзенштейна «Иван Грозный» роль святого митрополита Филиппа) и многих-многих других умелых и заботливых работников на ниве укрепления телесного и духовного здоровья страны.

Кстати говоря, первый в России профессиональный философский журнал был создан в 1889 г. на средства Алексея Алексеевича Абрикосова, родного дяди Георгия Адольфовича. Да и сам он стал соучредителем и руководителем хорошо известного издательства, выпустившего в свет работы Н.А.Бердяева, И.А.Ильина, С.А.Котляревского и целого ряда других видных философов и правоведов. Так и не осуществленной мечтой Георгия Адольфовича остался, к сожалению, его проект издания собрания сочинений его любимого философа Василия Васильевича Розанова. Казалось, что с провозглашением в 1921 г. НЭПа этот проект может получить реальные очертания, но августовская кампания 1922 года по организации «философских пароходов» уже окончательно развеяла все надежды.

А с этими беспочвенными надеждами привлечь внимание к жгучей актуальности творческого наследия В.В.Розанова особенно тяжело было расставаться трем единомышленникам, «почвенникам», – С.Н.Дурылину, П.П.Перцову и Г.А.Леману-Абрикосову.

Почти тотчас же по получении печального известия о смерти В.В.Розанова проживавший в то время в деревне под Костромой Петр Петрович Перцов загорается идеей о необходимости создания кружка почитателей Розанова. В своих проникновенных воспоминаниях о почившем гении он уже в марте 1919 г. провозглашает: «Следовало бы московским писателям (Москва, мне кажется, умеет больше ценить Розанова) – тем, кто понимает его значение – образовать особый розановский кружок, который занялся бы разысканием, собиранием и возможным напечатанием всего оставшегося после него материала... Жизнь сложилась так, что он жил в Петербурге, но внутренне Москва, я думаю, была ему ближе»⁷.

О том, с какой силой эта мечта волновала и согревала души «розановцев», особенно ярко свидетельствует их переписка. «Дорогой Петр Петрович! – обращается к своему другу в письме от 20 ноября 1926 г. С.Н.Дурылин. – Счастливый Вы человек, что Вы Вашей мыслью, душой и “внутренним” Вашим вызвали в гениальном человеке такие отзывы, – в которых, конечно, В.В. сказался весь, своей вершиной духа и быта. Эти письма в их любви и ненависти – ключ к В.В. И – со всею любовью к Вам и к нему – я говорю: *нельзя, невозможно, не должно* передавать этот золотой,

единственный ключ в чужие и, наверное почти, во враждебные, и уж, конечно, в корявые и неумелые, или сознательно недобросовестные – *руки*! Эти “руки” могут повернуть ключ так, что он сломается, или вставить его не в тот замок, или, или... мало ли что может быть, “руки” эти просто забросят ключ или утаят его, или подделают...»⁸.

Десятого же декабря тому же Перцову Дурылин пишет: «Грущу, что нет Вас в Москве. Только и утешает меня общение с Вас<илием> В<асильевичем> – через его мысль, образ, даже дымок его папироски, к<отор>ый, поверьте, все еще вьется у меня и ласкает и утешает меня. Я чувствую себя бесконечно одиноким. Мысль сиротеет. Ничего и ни от кого – отзывного, ответного, со-мучительного, со-мыслящего. В Сибири не был я более одиноким...»⁹.

В этом письме Дурылин вспоминает об аресте 12 июля 1922 г., в результате которого он был в административном порядке выслан на два года в Челябинскую область¹⁰. Но уже через полгода после написания процитированного выше письма Дурылина вновь арестовали и было сфабриковано новое следственное дело, в результате которого имена Розанова, Дурылина и Лемана-Абрикосова оказались скованы единой цепью. В Постановлении СО ОГПУ от 10 августа 1927 г. утверждалось, что С.Н.Дурылин «имел отношение к руководителю антисоветской группы почитателей писателя Розанова Леману; давал последнему справки... о... высказываниях Розанова... сам же Дурылин пропагандировал некоторые моменты из учения Розанова, являющегося, несомненно, контрреволюционным»¹¹.

В результате С.Н.Дурылин отправился еще на три года в Сибирь. Сам же «руководитель антисоветской группы» Г.А.Леман-Абрикосов был также на три года выслан в г.Усть-Сысольск (ныне Сыктывкар) с запретом по отбытии ссылки в течение трех лет селиться в Москве и еще в пяти городах. После ссылки Георгий Адольфович отправился в город Кирсанов, Тамбовской области, где ему удалось открыть свою парикмахерскую, и только в 1933 г. он вернулся в Москву.

Фамилия Лемана встречалась и в других следственных делах по поводу участия в философских кружках. Например, на допросе в ОГПУ 10 января 1929 г. А.К.Горский (поэт и философ) показал: «До 1926–1927 года мне приходилось встречать в Москве

и в Ленинграде не мало лиц, заинтересованных религиозными вопросами... На эту тему... в 1924–25 гг. велась <беседа> в частных домах, например у Лемана Георгия Адольфовича...»¹².

В 1941 г. Георгия Адольфовича вновь арестовали, на этот раз уже как немца (по отцовской линии), и отправили на два года в тюрьму города Чистоль. Третья «ходка» (в соликамский лагерь) у него состоялась в 1948 г. Следственные дела Лемана-Абрикосова находятся в ГАРФ под номерами: П-58052 и П-57691.

По сведениям, полученным от дочери Георгия Адольфовича (Веры Георгиевны), выйдя из лагеря в 1953 или в 1954 г., ее отец работал переводчиком для Свято-Сергиевской Троицкой Лавры, а также преподавал немецкий язык аспирантам Академии Наук. Ему даже удалось издать в Учпедгизе в 1958 г. собственное учебное пособие «Обучение немецкой лексике» объемом в 272 страницы.

Почти все написанные, но не изданные его труды пропали из-за арестов. Лишь в его письмах имеются о них упоминания. «Дорогой Петр Петрович! – пишет он, например, 15 мая 1933 года Перцову. – Судя по Вашему письму, Вы не изволите до сих пор знать тем моих “Монографий по философии культуры”. Сие позорно, и потому сообщаю их Вам.

Т. I. “Форма человека. Философия культуры”.

Т. II. “Подвиг любви и подвиг братства. Философия эротики”.

Т. III. “Народ и нация. Философия власти”.

Т. IV. “Звучание камней. Философия московского зодчества”»¹³.

К счастью, сохранилось самое ценное, видимо, его произведение – «Воспоминания (1900-е–1920-е гг.) *Proditum memoriae*» (1963), сданное им в Отдел рукописей ГБЛ (ф. 218. 1272. 5). Орывок из этих «Воспоминаний» публикуется нами по копии, хранившейся у его дочери и идентичной архивной.

Остается лишь добавить, что Георгий Адольфович Леман-Абрикосов, внук основателя кондитерской империи Алексея Ивановича Абрикосова, родился в 1887 г., учился один год в Гейдельбергском университете, затем окончил юридический факультет Московского университета, а также Коммерческий институт. Некоторое время работал помощником присяжного поверенного, имел собственную бумагокрасильную фабрику и цинкографию, а также приобрел собственную типографию (ул. Маросейка, д. 11) и посвятил себя главным образом издательской деятельности, соб-

ственному творчеству в области философии культуры и, что не менее важно, в области искусства общения, о чем и свидетельствует нижеприведенный текст.

Приложение

Г.А.Леман-Абрикосов Воспоминания (1900-е–1920-е гг.)

Постепенно, и как-то мало заметно для меня самого, стал образовываться кружок и у меня, в моем, тогда уже небезизвестном в московском обществе, кабинете¹⁴. Хотелось мне привлечь и Сергея Константиновича Шамбинаго, профессора русского языка нашего Университета. Встретив где-то его и зная его по очень далеким родственным отношениям, я сообщил ему это мое желание видеть его у себя. На это он мне сказал, что он будто бы неподходящий для этого человек, а вот у него есть приятель, которого он считает весьма для этого подходящим, и посоветовал мне этого его знакомого привлечь в мой кружок. Прошло немного времени, как мне как-то доложили, что меня желает кто-то видеть. Я вошел в мой кабинет и увидел крупную, видную фигуру мужчины лет пятидесяти с лишком. Впоследствии я узнал, что его в Петербурге постоянно принимали за великого князя Алексея Александровича – генерал-адмирала. Он назвался Андреем Павловичем Каютовым, тем самым знакомым Шамбинаго, о котором последний мне говорил. Я должен самым теплым, самым любовным словом помянуть этого милого Андрея Павловича. Знакомство это, вскоре перешедшее в большую дружбу и, смею сказать, во взаимную привязанность, имело для меня и даже для всей моей семьи огромное значение. Прежде всего, он оказался мужем большой московской знаменитости – Надежды Петровны Ламановой¹⁵. Из хорошей дворянской семьи, дочь гвардии полковника, она в молодые годы, уйдя из семьи и пережив неудачу в личной жизни – любимый человек, насколько мне известно, умер в ее объятиях, – открыла модную мастерскую. Она обнаружила огромный вкус и постепенно стала одевать дам самых высоких и самых богатых кругов московского общества. У нее стали одеваться не только дамы московского